

19 апреля исполняется 70 лет выдающемуся советскому писателю и общественному деятелю, лауреату Ленинской и Государственных премий, Герою Социалистического Труда Георгию Мокеевичу Маркову. О писателе, о главных его героях и главных темах творчества эссе Николая Горбачева.

В ТУСКЛОМ дне мозглый туман плотными белыми клубами висел над порожистой, своенравной Туганчанкой, а издали, от палаточного лагеря поисковой партии чудились стильными наметами снега. Редко срывались, падали, будто бабочки-однодневки, синеватые жесткие снежинки.

Оказавшись в положении залетной птицы, прикованной непогодой, которая буйствовала где-то там, в районе вертолетной базы, оттого таежных винтокрылых тружеников держали на приколе, я вынужденно коротал вторые сутки на крохотном острове из трех палаток среди лесного безбрежного моря, излазил берега реки, хлестал в отчаянии воду спиннингом, надеясь обмануть блесной тайменя, на худой конец ленка, но безрезультатно: рыба не жировала, должно быть, предчувствуя резкую перемену погоды. Глохлая, гнетущая тишина как бы давила под низкими рвано-отяжеленными тучами.

К вечеру потемнело разом, будто кто-то там, выше туч, раскинул непроницаемое покрывало, дохнуло сырой, пронизывающей стужей, порыв ветра рванул, сметывая с реки туман, смывая прибрежные кусты тальника, взвихрил палые листья, сухие, хрустящие сучья, бросил от палаточного стана к заслону великанов-пихтачей, вставших плечом к плечу на краю поляны.

Подоспела бригада. Люди сбрасывали амуницию, глухо стучали ящики с приборами; ветер рвал, относил фразы скупых переговоров. Неожиданно у самой палатки раздалось довольно громко:

— ...В брезентовую халупу не-е! ...Нычет, мы не чалдоны, не сибирского корня. Тунгуса западим да постель сгоношим из пихтового лапника — знатно поспим!

«Никифор Пряхин, — догадался я по голосу с глушиной, представил круглое плоскостное и обветренное лицо, курносый мягкий нос, но глаза — лучистые, тепло-антарные, умные; ловкий и сильный мужик. Тут же зашевелило беспокойство: — Откуда... это словцо «нычет»? Неужели?»

Откидывая набухлый брезентовый клин, шагнул в непогоду, горячительно думая: «Неужели читал марковских «Строговых», принял словцо деда Фишки или оно само по себе, независимо возникло?». Покряхтывая, Пряхин складывал увесистые приборные ящики. Его глаза весело прожгли темноту — мой вопрос, видно, задел его.

— Знамо — читано! «Умру, а ногой дрыгну!». Его, деда Фишки, притаскало. Оно как же, Георгий Мокеевич наш писатель. И отец мой, и дядя Захар с Иваном в той партизанской армии Юксинскую тайгу вызволяли. А меня, что кедровую шишку, эвон куда закатило!

И тотчас предстало большое, разросшееся, словно кедр на крутояре, древо диастии сибиряков Строговых, на чьем примере писателем проследжены, скрупулезно и ярко, типические и жизненные траектории, какие вели к самоосознанию сибирским мужиком своей роли и к окрыленно возвышенному чувству хозяина не только нарождающейся новой судьбы, но и несметных кладов, какие тайла Сибирь, этот «феномен двадцатого века».

Каким же пророчески дальновидным взглядом, прозорливой интуицией надо было обладать в те тридцатые годы, когда писался роман, чтобы смело, художественными средствами начертать бурную историю Сибири, которая нынче вершится с ускорениями, недоступными ни одной самой известной цивилизации на земле. Что это — счастливое, но случайное совпадение или подлинно художественная логика прозрения? С бесспорным основанием можно утверждать: да, мы имеем дело с естественной закономерностью, логикой художнического прозрения, ибо в последующем, более охватном и полифоническом романе «Сибирь» исследование революционно-историческо-

ханьями голос Пряхина, и его доверительное, даже «своейское» отношение к писателю не только не раздражало, не корбило слух, — напротив, воспринималось как признание, непорочное, чистое, как мужская сдержанная любовь, в которой все сокрыто в глубине. У жаркого костра мы в согласии, молча пили чай, наполняя кто по второй, кто по третьей кружке из ведерного, дочерна закопченного чайника; набряклые ватники парили, белые космы скользили, возносились невысоко: вверх их подстерегал студеный воздух, вмиг сморазивал. Мне же в общей разморенности, в веселом треске дерева, в ровном, упругом гудении огня почему-то являлись, приходили отрыв-

К 70-летию Георгия МАРКОВА

ДОЛГ СЕРДЦА



го места огромного региона, раскрытого писателем на широком и многоцветном полотне людских характеров, судеб, прежде всего на судьбе профессора Лихачева, человека истинно русского, для кого «где пахнет иностранной деньгой, там... делать нечего», и молодых революционеров Ивана Акимова, Кати, всей системой образного воплощения выявлен и доказан с силою и убедительностью, достойной основополагающей научной гипотезы, нынешний, поражающий мир расцвет Сибири.

К полуночи бесноватый ветер утих, черно-антрацитовое небо вызвездилось — к морозу; он подобрался под отсыревшую одежду ощутило, и было ясно, что провести предстоящую ночь в палатках — удовольствие невелико. Однако под началом Пряхина срубили два сухих кедра, комлями уложили вместе, вершины развели под углом, запалили. После разожгли костер и, сбившись в центре огненного треугольника, блаженствовали, обжигаясь чаем, настоящим на бадане, душице, почках дикой смородины. Темнота огромного, полыхавшего огня «тунгуса» казалась непроглядной; потрескивали сушины, охваченные пламенем. Суеулы среди ярившегося кострища Никифор Пряхин, и лицо его, медно-литое в роспесках буйствовавшего пламени, было одухотворенно величественным. Гибкой жердиной Пряхин подправил огонь и на похвалу в свой адрес заметил не без довольства:

— Его, тунгуса, не всяк одолеет, — известно, сноровка требуется! У Мокеича то опять путем описано, как того Гаврюху, из студентов, старик Федот, — этот из беглых, — наставлял про тунгуса, как его ладить, да про вруна, — как тайга наша чудит... Нычет, Сибирь она, и все тут! Вон ветрюга тока буйствовал, а теперь, язвы его, мороз печенку ест.

И пульсирующий, с зату-

чато, в мгновенных вспышках, встречи с Георгием Мокевичем, всегда духовно обогащающие, его бесконечно многогранные писательские, общественные и государственные заботы и дела, в которых Сибири-матери всегда отведено красное место.

И уже после, лежа на возвышенном и мягком ложе из лапника, вглядываясь в алмазно-переливчатую инкрустацию Млечного пояса, я не приметно для себя ощутил, как вольным и свободным потоком, казалось, разворачиваясь на светлом небесном поясе, воображение захлестнуло калейдоскоп событий, удивительная и разномасштабная череда людей, героев, известных и неизвестных, панорамы исторических свершений, спрессованных и сплавленных в литературной ткани широко известных романов и повестей писателя «Строгов», «Соль земли», «Отец и сын», «Сибирь», «Орлы над Хинганом»...

Неторопливо, с замедлениями вращалось колесо памяти и внезапно застопорилось, встало, будто память наткнулась и в первый миг словно бы в оторопи сжалась, — повесть «Тростинка на ветру» — о выборе молодой девушкой своего пути, казалось, она выпадала из четкого целеустремленного творческого русла писателя, склонного к эпике, исторической широкоохватности событий, умеющего промерить людскую жизнь до малодоступных глубин, достичь ее самых «плодоносных» слов, — и вдруг эта повесть... Что это — простая случайность или случайность как закономерность, которую еще надлежит постичь и понять?

Текло время; от «тунгуса» накатывало ровным, нежгучим теплом; спали блаженным сном сотоварищи, сбившись в плотный ряд; крайним, сбоку от меня, спал Никифор Пряхин; отневые блики в слабой беспокоежности откидывали к небу бесшумные бегущие тени... И тогда с толчком, в радости пришло: «А ведь в этом — счастливая молодость таланта, неистраченная его сила, колы писателя на крутом и высоком перевале лет обращается нежданно к сугубо молодежной теме!»

Под утро тунгусский огонь сделал свое дело: толстые кедровые сушины превратились в груды горячих углей. От них исходило такое тепло, что выпавший за ночь редкий снег растаял, отступил вымороженной холстиной к темной стене пихтачей, и воздух над ложем из лапника щекотал ноздри дымовитым возбуждающим духом.

Николай ГОРБАЧЕВ.

19 апреля исполняется 70 лет выдающемуся советскому писателю и общественному деятелю, лауреату Ленинской и Государственных премий, Герою Социалистического Труда Георгию Мокеевичу Маркову. О писателе, о главных его героях и главных темах творчества эссе Николая Горбачева.

В ТУСКЛОМ дне мозглый туман плотными белыми клубами висел над порожистой, своенравной Тутанчанкой, а издали, от палаточного лагеря поисковой партии чудился стылými наметами снега. Редко срывались, падали, будто бабочки-однодневки, синеватые жесткие снежинки.

Оказавшись в положении залетной птицы, прикованной непогодой, которая буйствовала где-то там, в районе вертолетной базы, оттого таежных винтокрылых тружеников держали на приколе, я вынужденно коротал вторые сутки на крохотном островке из трех палаток среди лесного безбрежного моря, излазил берега реки, хлестал в отчаянии воду спиннингом, надеясь обмануть блесной тайменя, на худой конец ленка, но безрезультатно: рыба не жировала, должно быть, предчувствуя резкую перемену погоды. Глохлая, гнетущая тишина как бы давила под низкими рвано-отяжеленными тучами.

К вечеру потемнело разом, будто кто-то там, выше туч, раскинул непроницаемое покрывало, дохнуло сырой, пронизывающей стужей, порыв ветра рванул, сметывая с реки туман, сминая прибрежные кусты тальника, взвихрил палые листья, сухие, хрусткие сучья, бросил от палаточного стана к заслому великанов-пихтачей, вставших плечом к плечу на краю поляны.

Подроспела бригада. Люди сбрасывали амуницию, глухо стукали ящики с приборами; ветер рвал, относил фразы скупых переговоров. Неожиданно у самой палатки раздалось довольно громко:

— ...В брезентовую халупу не-е-е! ...Нычет, мы не чалдоны, не сибирского корня. Тунгуса запалим да постель сгоношим из пихтового лапника — знатно поспим!

«Никифор Пряхин, — догадался я по голосу с глушиной, представил круглое плосковатое и обветренное лицо, курносый мягкий нос, но глаза — лучистые, тепло-антарные, умные; ловкий и сильный мужик. Тут же зашемило беспокойство: — Откуда... это словцо «нычет»? Неужели?»

Откидывая набухлый брезентовый клин, шагнул в непогоду, горячительно думая: «Неужели читал марковских «Строговых», принял слово деда Фишки или оно само по себе, независимо возникло?». Покряхтывая, Пряхин складывал увесистые приборные ящики. Его глаза весело прожгли темноту — мой вопрос, видно, задел его.

— Знамо — читано! «Умру, а ногой дрыгну!». Его, деда Фишки, прыскало. Оно как же, Георгий Мокеевич наш писатель. И отец мой, и дядя Захар с Иваном в той партизанской армии Юксинскую тайгу вызволяли. А меня, что кедровую шишку, эвон куда закатило!

И тотчас предстало большое, разросшееся, словно кедр на крутояре, древо диастии сибиряков Строговых, на чьем примере писателем прослежены, скрупулезно и ярко, типические и жизненные тракты, какие вели к самоосознанию сибирским мужиком своей роли и к окрыленно возвышенному чувству хозяина не только нарождающейся новой судьбы, но и несметных кладов, какие тайла Сибирь, этот «феномен двадцатого века».

Каким же пророчески дальновидным взглядом, прозорливой интуицией надо было обладать в те тридцатые годы, когда писался роман, чтобы смело, художественными средствами начертать бурную историю Сибири, которая нынче вершится с ускорениями, недоступными ни одной самой известной цивилизации на земле. Что это — счастливое, но случайное совпадение или подлинно художественная логика прозрения? С бесспорным основанием можно утверждать: да, мы имеем дело с естественной закономерностью, логикой художественного прозрения, ибо в последующем, более охватном и полифоническом романе «Сибирь» исследование революционно-историческо-

ханьями голос Пряхина, и его доверительное, даже «свойское» отношение к писателю не только не раздражало, не корбило слух, — напротив, воспринималось как признание, непорочное, чистое, как мужская сдержанная любовь, в которой все сокрыто в глубине. У жаркого костра мы в согласии, молча пили чай, наполняя кто по второй, кто по третьей кружке из ведерного, дочерна закопченного чайника; набрякшие ватники парили, белые космы скользили, возносились немысоко: сверху их подстерегал студеный воздух, вмиг смораживал. Мне же в общей размерности, в веселом треске дерева, в ровном, упругом гудении огня почему-то являлись, приходили отрыв-

К 70-летию Георгия МАРКОВА

ДОЛГ СЕРДЦА



го места огромного региона, раскрытого писателем на широком и многоцветном полотне людских характеров, судеб, прежде всего на судьбе профессора Лихачева, человека истинно русского, для кого «где пахнет иностранной деньгой, там... делать нечего», и молодых революционеров Ивана Акимова, Кати, всей системой образного воплощения выявлен и доказан с силою и убедительностью, достойной основополагающей научной гипотезы, нынешний, поражающий мир расцвет Сибири.

К полуночи бесноватый ветер утих, черно-антрацитовое небо вызвездилось — к морозу; он подобрался под отсыревшую одежду ощутило, и было ясно, что провести предстоящую ночь в палатках — удовольствие невелико. Однако под началом Пряхина срубили два сухих кедра, комями уложили вместе, вершины развели под углом, запалили. После разошлись костер и, сбившись в центре огненного треугольника, блаженствовали, обжигаясь чаем, настоящим на бадане, душице, почках дикой смородины. Темень от огромного, полыхавшего огня «тунгуса» казалась непроглядной; потрескивали сушины, охваченные пламенем. Суетился среди ярившегося кострища Никифор Пряхин, и лицо его, медно-литое в рослесах буйствовавшего пламени, было одухотворенно величественным. Гибкой жердиной Пряхин подправил огонь и на похвалу в свой адрес заметил не без довольства:

— Его, тунгуса, не всяк одолеет, — известно, сноровка требуется! У Мокеича то опять путем описано, как того Гаврюху, из студентов, старик Федот, — этот из беглых, — наставлял про тунгуса, как его ладить, да про вруна, — как тайга наша чудит... Нычет, Сибирь она, и все тут! Вон ветрюга тока буйствовал, а теперь, язви его, мороз печенку ест.

И пульсирующий, с зату-

чато, в мгновенных вспышках, встречи с Георгием Мокеевичем, всегда духовно обогащающие, его бесконечно многогранные писательские, общественные и государственные заботы и дела, в которых Сибирь-матери всегда отведено красное место.

И уже после, лежа на возвышенном и мягком ложе из лапника, вглядываясь в алмазно-переливчатую инкрустацию Млечного пояса, я не приметно для себя ощутил, как вольным и свободным потоком, казалось, разворачиваясь на светлом небесном поясе, воображение захлестнуло калейдоскоп событий, удивительная и разномастная череда людей, героев, известных и безвестных, панорамы исторических свершений, спрессованных и сплавленных в литературной ткани широко известных романов и повестей писателя «Строговы», «Соль земли», «Отец и сын», «Сибирь», «Орлы над Хинганом»...

Ноторопливо, с замедлениями вращалось колесо памяти и внезапно застыло, встало, будто память наткнулась и в первый миг словно бы в оторопи сжалась, — повесть «Тростинка на ветру» — о выборе молодой девушкой своего пути, казалось, она выпадала из четко целеустремленного творческого русла писателя, склонного к эпике, исторический широкоохватности событий, умеющего промерить людскую жизнь до малодоступных глубин, достичь ее самых «плодоносных» слов, — и вдруг эта повесть... Что это — простая случайность или случайность как закономерность, которую еще надлежит постичь и понять?

Текло время: от «тунгуса» накатывало ровным, нежгущим теплом; спали блаженным сном сотоварищи, сбившись в плотный ряд; крайним, сбоку от меня, спал Никифор Пряхин; огневые блики в слабой беспокоежности откидывали к небу бесшумные бегущие тени... И тогда с толчком, в радости пришло: «А ведь в этом — счастливая молодость таланта, неистраченная его сила, колы писатель на крутом и высоком перевале лет обращается нежданно к сугубо молодежной теме!»

Под утро тунгусский огонь сделал свое дело: толстые кедровые сушины превратились в груды горячих углей. От них исходило такое тепло, что выпавший за ночь редкий снег растаял, отступил вымороженной холстиной к темной стене пихтачей, и воздух над ложем из лапника щекотал ноздри дымовитым возбуждающим духом.

Николай ГОРБАЧЕВ.